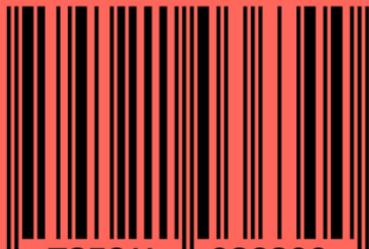


Дэвид
Гребер

УТОПИЯ ПРАВИЛ

О технологиях, глупости
и тайном обаянии
бюрократии



9 785911 036300

Ad
Marginem

Дэвид Гребер
Утопия правил. О
технологиях, глупости и
тайном обаянии бюрократии

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24256673

*Утопия правил: о технологиях, глупости и тайном обаянии
бюрократии: Ад Маргинем Пресс; М.; 2016
ISBN 978-5-91103-315-6*

Аннотация

Откуда появилась тяга к бюрократии, бесконечным правилам и уставам? Как вышло, что сегодня мы тратим массу времени, заполняя различные формуляры? И действительно ли это шифр к разгадке сути государственного насилия?

Чтобы ответить на эти вопросы, антрополог Дэвид Гребер исследует неожиданные связи современного человека с бюрократией и показывает, как эти взаимоотношения формируют нашу повседневность.

Эта книга – сборник эссе, каждое из которых показывает, в каких направлениях может развиваться левая критика, которой, по мнению Гребера, бюрократии остро не хватает.

Содержание

Введение	5
Конец ознакомительного фрагмента.	44

**Гребер, Дэвид
Утопия правил.
О технологиях,
глупости и тайном
обаянии бюрократии**

© 2015 David Graeber

© First Mellville House printing: February 2015

© Дунаев А.Л., перевод, 2016

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2016

© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/ IRIS

Foundation, 2016

Введение

Железный закон либерализма и эра тотальной бюрократизации

Сегодня о бюрократии никто особо не говорит. Но в середине прошлого века, особенно в конце 1960-х и в начале 1970-х годов, это слово звучало повсюду. Издавались социологические труды с громкими названиями вроде «Общая теория бюрократии»¹, «Политика бюрократии»² или даже «Бюрократизация мира»³ и популярные книги, как, например, «Закон Паркинсона»⁴, «Принцип Питера»⁵ или «Бюрократы: как им досаждать»⁶. Выпускались кафкианские романы и сатирические фильмы. Казалось, все считали, что нелепость и абсурд бюрократической жизни и бюрократических процедур представляли собой одну из определяющих черт современного существования, а значит, были более чем достойны обсуждения. Однако начиная с 1970-х годов внимание к этой проблеме стало угасать.

Взять, к примеру, следующий график (рис. 1), показывающий, как часто слово «бюрократия» употреблялось в книгах, написанных на английском языке за последние полтора столетия. Интерес к этому явлению был весьма ограниченным до конца Второй мировой, затем резко усилился в 1950-

е годы и, достигнув пика в 1973 году, стал медленно, но верно ослабевать.

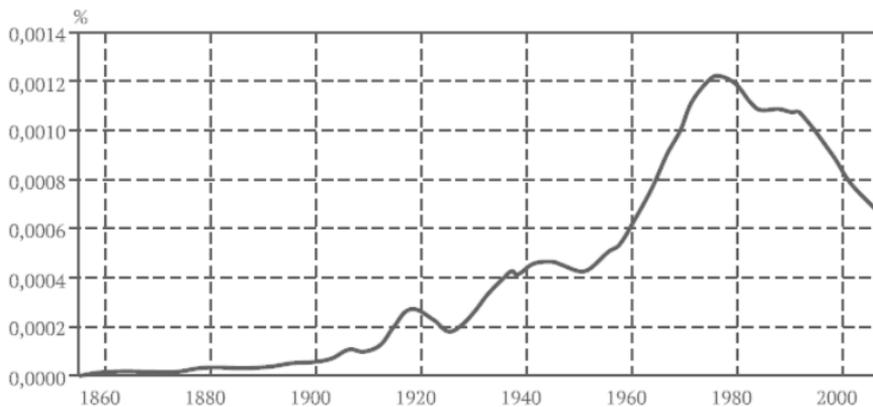


Рис. 1. Бюрократия

Почему? Одна из очевидных причин заключается в том, что мы попросту привыкли. Бюрократия стала той средой, где мы обитаем. Теперь представим другой график (рис. 2), отражающий среднее количество часов, которое обыкновенный американец, англичанин или житель Таиланда провел за заполнением анкет или выполнением прочих исключительно бюрократических обязанностей (разумеется, теперь в большинстве случаев настоящая бумага уже не требуется). Кривая этого графика чем-то похожа на ту, что мы видели выше – до 1973 года она медленно ползет вверх. Но после этой даты графики отличаются друг от друга: линия не только не идет вниз, а, наоборот, продолжает стремиться ввысь; более

того, она растет резко, показывая, что в конце XX века представители среднего класса тратили еще больше времени на борьбу с автоответчиками и веб-интерфейсами, а те, кому повезло меньше, преодолевали все более изощренные препятствия, пытаясь получить доступ к социальным услугам.

Я представляю этот график вот так:

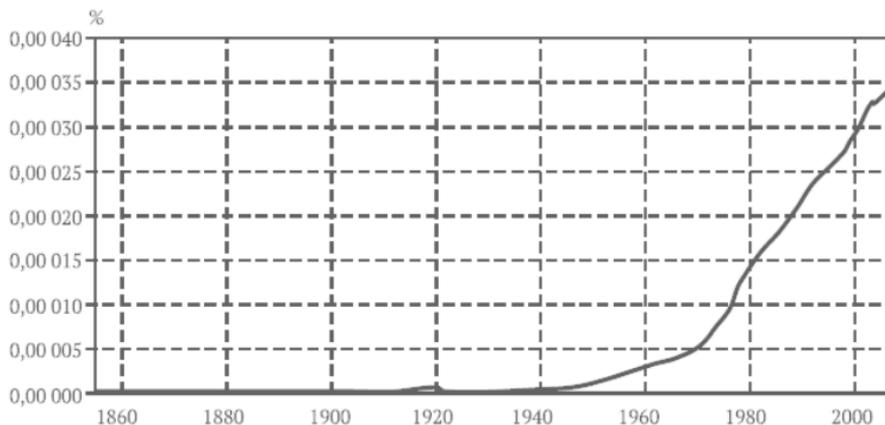


Рис. 2. Бумажная волокита

Эта статистика показывает не количество часов, потраченных на бумажную волокиту, а всего лишь частоту использования словосочетания «бумажная волокита» в англоязычных книгах. У нас нет машины времени, которая позволила бы нам провести более точные исследования, поэтому мы должны довольствоваться тем, что имеем.

Кстати, термины, максимально близкие к «бумажной во-

локите», демонстрируют почти такие же результаты (рис. 3):

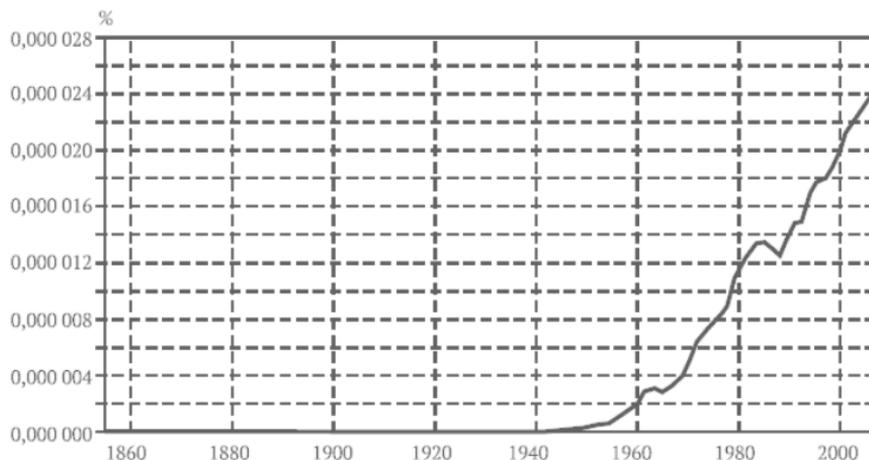


Рис. 3. Оценка эффективности

Все очерки, собранные в этой книге, так или иначе посвящены этому несоответствию. Мы больше не думаем о бюрократии, но она определяет каждый аспект нашего существования. Будучи планетарной цивилизацией, мы словно решили хлопать в ладоши или мычать всякий раз, когда о ней заходит речь. Даже если мы и готовы говорить о бюрократии, то по-прежнему используем термины, бывшие в ходу в 1960-е и в начале 1970-х. Общественные движения 1960-х годов являлись в целом левыми по духу, но они еще и бунтовали против бюрократии или, если выразиться более аккуратно, выступали против бюрократического мышления,

против разрушающей душу покорности, царившей в послевоенных государствах всеобщего благоденствия. Перед лицом серых чиновников капиталистических и социалистических государств бунтари 1960-х отстаивали свое право на личностное самовыражение и на спонтанное веселье и боролись («Правила и нормы – да кому они нужны?»¹) с любой формой социального контроля.

С крахом старых государств всеобщего благоденствия все это стало казаться откровенным чудачеством. По мере того как язык антибюрократического индивидуализма все более агрессивно перенимали правые, настаивающие на «рыночных решениях» всех социальных проблем, левый мейнстрим все чаще вел довольно жалкие арьергардные бои, пытаясь спасти остатки старого социального государства; пусть и неохотно, но левые смирились с попытками – а зачастую даже выступали их инициаторами – повысить «эффективность» усилий правительства за счет частичной приватизации услуг и прививания структуре самой бюрократии все более «рыночных принципов», «рыночных стимулов» и рыночных «бухгалтерских процессов».

Результатом стала политическая катастрофа – по-другому и не скажешь. То, что представляется как «умеренно» левое решение любой социальной проблемы (а радикально левые решения теперь почти повсеместно отменяются), неизбежно превращается в кошмарную мешанину худших элемен-

¹ Цитата из песни Chicago Грэма Нэша. – *Примеч. ред.*

тов бюрократии и капитализма. Как будто кто-то осознанно попытался выработать наименее привлекательную политическую программу. Об устарелости левых идеалов свидетельствует факт, что никому бы и в голову не пришло поддержать на выборах партию, которая выступала бы за нечто подобное – если за это кто-то и голосует, то, разумеется, не потому, что считает такую политику правильной, а потому, что это единственная политика, которую позволено отстаивать тем, что относит себя к левоцентристам.

Стоит ли тогда удивляться тому, что всякий раз, как наступает социальный кризис, именно правые, а не левые становятся выразителями народного гнева?

У правых, по крайней мере, *имеется* критика бюрократии. Не очень продуктивная. Но она хотя бы существует. У левых ее нет. И когда те, кто считают себя левыми, не могут сказать о бюрократии ничего плохого, они вынуждены принимать выхолощенную версию критики правых⁷.

Критику правых можно изложить довольно кратко. Ее истоки восходят к либерализму XIX века⁸. Та версия истории, что сложилась в кругах европейского среднего класса после Французской революции, гласила, что в цивилизованном мире происходил постепенный, неравномерный, но необратимый переход от господства военной элиты с его авторитарными правительствами, религиозными догмами и стратификацией, близкой к кастовому делению, к свободе, равенству

и просвещенному торговому личному интересу. В Средние века купеческие классы, словно термиты (ну да, термиты, только полезные), подточили старый феодальный порядок снизу. Согласно либеральной версии истории, пышность и великолепие абсолютистских государств, что тогда ниспровергались, являлись последними пережитками старого порядка, которому должен прийти конец, когда государства дадут зеленый свет рынкам и научному пониманию религиозной веры, а жесткие порядки и титулы маркизов и баронесс уступят место свободным сделкам между индивидами.

Становление современной бюрократии в этой истории всегда представляло определенную проблему, потому что не очень хорошо в нее вписывалось. В принципе, насупленные чиновники с их длинными цепочками управления являлись простым феодальным пережитком и вскоре должны были последовать за офицерами и армиями, которые, как все ожидали, тоже со временем станут ненужными. Достаточно просто полистать русские романы конца XIX века: все отпрыски старых аристократических семейств – то есть на самом деле почти все персонажи этих книг – становились либо армейскими офицерами, либо государственными служащими (ни один мало-мальски значимый герой ничем другим не занимался), а в военной и в гражданской иерархиях были почти одинаковые ранги, звания и менталитет. Но существовала одна очевидная проблема. Если бюрократы являлись просто пережитком, то почему тогда повсеместно – не только в

такой глуши, как Россия, но и в быстро развивавшихся промышленных странах вроде Англии и Германии, – их с каждым годом становилось все больше?

Далее появляется еще одно утверждение: бюрократия по сути своей представляет собой врожденный порок демократического проекта. Самым видным выразителем этой мысли был Людвиг фон Мизес⁹, австрийский аристократ в изгнании. В 1944 году он выпустил книгу «Бюрократия», в которой утверждал, что правительственные системы по определению не могут организовывать информацию так же эффективно, как безличные рыночные ценовые механизмы. Тем не менее предоставление права голоса проигравшим в экономической игре неизбежно оборачивается призывами к правительственному вмешательству, которое рисуется благородным инструментом, позволяющим решить социальные проблемы административными методами. Фон Мизес был готов признать, что многие сторонники подобных решений действуют из лучших побуждений, однако их усилия только усугубляют ситуацию. Действительно, он считал, что они окончательно уничтожат политическую основу самой демократии, потому что администраторы социальных программ неизбежно будут объединяться и получают намного большее влияние, чем победившие на выборах политики, руководящие правительством, и станут поддерживать еще более радикальные реформы. Фон Мизес утверждал, что социальные государства, формировавшиеся в те годы в таких странах,

как Франция или Англия (не говоря уже о Дании или Швеции), через одно-два поколения неизбежно придут к фашизму.

С этой точки зрения рост бюрократии стал ярким примером того, как благие намерения оборачиваются кошмаром. Возможно, наиболее емко эту мысль выразил Рональд Рейган в своей знаменитой фразе: «Девять наиболее страшных слов в английском языке: “Я из правительства и я здесь, чтобы помочь вам”».

Проблема в том, что все это очень слабо связано с тем, что происходило на самом деле. Прежде всего, исторически рынки не возникли как некое пространство свободы, не зависящее от государственных властей и противостоящее им. Все было ровно наоборот. Изначально рынки появлялись как побочный эффект от действий правительства, особенно военного характера, или же непосредственно создавались руководящей верхушкой. Так было, по крайней мере, с момента начала чеканки монет, изначально применявшихся для снабжения солдат; на протяжении большей части истории Евразии обычные люди использовали неформальные кредитные соглашения, а физические деньги, золото, серебро, бронза и тот вид безличных рынков, который они сделали возможным, были в основном приложением к мобилизации легионов, разграблению городов, взиманию дани и захвату добычи. Современные центральные банки тоже были созданы для финансирования войн. Так что в традиционной версии

истории фигурирует изначальная проблема. Но есть и еще одна, даже более драматичная. Мысль о том, что рынок в определенном смысле независим от правительства и противостоит ему как минимум с XIX века, служила оправданием либеральной экономической политики, направленной на сокращение роли правительства, но на деле это так не работало. Английский либерализм, например, привел не к снижению доли государственной бюрократии, а ровно к противоположному результату, то есть к бесконечному разбуханию армии конторских служащих, регистраторов, инспекторов, нотариусов и полицейских чиновников, которые сделали возможным осуществление либеральной мечты о мире свободных сделок между самостоятельными индивидами. Оказалось, что поддержание рыночной экономики требует в тысячи раз большей бумажной волокиты, чем абсолютная монархия в стиле Людовика XIV.

Этот парадокс, состоящий в том, что политика правительства, направленная на снижение его вмешательства в экономику, в конечном итоге ведет к большему регулированию и увеличению числа бюрократов и полицейских, можно наблюдать настолько часто, что, на мой взгляд, мы вполне можем считать его общим социологическим правилом. Предлагаю называть его Железным законом либерализма:

Железный закон либерализма гласит, что всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью уменьшить бюрократизм и

стимулировать рыночные силы в конечном итоге приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на службу правительство.

На заре XX века эту тенденцию отметил французский социолог Эмиль Дюркгейм¹⁰, и в дальнейшем игнорировать ее стало невозможно. К середине столетия даже критики из числа правых вроде фон Мизеса были готовы признать – по крайней мере, в своих научных работах – что на самом деле рынки не регулируют себя сами и что для поддержания функционирования любой рыночной системы необходима целая армия администраторов (по фон Мизесу, такая армия становилась проблемой лишь тогда, когда ее использовали для корректировки действия рыночных сил, обрекая тем самым на излишние страдания бедных)¹¹. Однако вскоре правые популисты осознали, что, вне зависимости от реального положения дел, критика бюрократов почти всегда дает хорошие результаты. Поэтому в своих публичных выступлениях они неустанно клеймили тех, кого губернатор и кандидат в президенты США Джордж Уоллес в ходе предвыборной кампании 1968 года назвал «очкастыми бюрократами», что живут за счет налогов, взимаемых с трудолюбивых граждан.

На самом деле Уоллес здесь – ключевая фигура. Сегодня американцы помнят его в основном как реакционера-неудачника или даже как ворчливого сумасшедшего: эда-

кий последний закоренелый сторонник сегрегации, стоящий у дверей школы с топором в руках. Но если посмотреть на его наследие шире, то его можно вполне представить и своего рода политическим гением. В конце концов, он был первым политиком, заложившим национальную основу для правого популизма, вскоре оказавшимся настолько заразным, что теперь, поколение спустя, им прониклись представители практически всех политических сил. В результате среди американских рабочих бытует расхожее мнение о том, что правительство составляют люди двух типов: «политики» – крикливые жулики и лжецы, которых хотя бы иногда можно снять с должности путем голосования, и «бюрократы» – снисходительные представители элиты, которых прогнать практически невозможно. Предполагается, что существует некий негласный союз между теми, кого стали считать бедными паразитами (в Америке их изображают в откровенно расистских тонах), и лицемерными чиновниками, такими же паразитами, чье существование зиждется на выплате пособий бедным за счет других людей. И вновь даже левый мейнстрим (или те, кого сегодня называют левыми) способен предложить лишь выхолощенную версию этого правого дискурса. Билл Клинтон, например, так долго критиковал государственных служащих, что после взрывов в Оклахома-Сити счел необходимым напомнить американцам, что служащие – тоже люди, и пообещал никогда больше не употреблять слово «бюрократ»¹².

В современном американском популизме – и в какой-то степени во всем остальном мире – есть только одна альтернатива «бюрократии», а именно «рынок». Иногда это означает, что руководить правительством нужно так же, как и управлять компанией. А иногда, что мы должны просто устранить бюрократов и вернуться к истокам, то есть дать людям жить, не сковывая их бесконечными правилами и предписаниями, которые им навязываются сверху, и позволить тем самым магии рынка выработать собственные решения.

Тем самым «демократия» стала означать рынок, а «бюрократия», в свою очередь, вмешательство правительства в деятельность рынка; именно такое значение это слово сохраняет и по сей день.

Так было не всегда. В конце XIX века становление современных корпораций в целом рассматривалось как вопрос применения современных бюрократических приемов в частном секторе – считалось, что эти приемы необходимы для ведения крупномасштабной деятельности, потому что они более эффективны, чем сети личных или неформальных связей, преобладавших в мире небольших семейных предприятий. Пионерами этой новой, частной бюрократии стали Соединенные Штаты и Германия, а немецкий социолог Макс Вебер отмечал, что американцы его времени были особенно склонны видеть в государственной и частной бюрократиях одного и того же зверя:

Корпус чиновников, вовлеченных в «государственную» службу, наряду с соответствующим аппаратом материальных инструментов и бумаг составляет «бюро». В частной компании «бюро» часто называют «конторой»...

Особенность современного предпринимателя состоит в том, что он ведет себя как «первый чиновник» своей корпорации, точно так же, как правитель бюрократического государства эпохи модерна называл себя «первым служителем» государства. Мысль о том, что бюрократическая деятельность государства по своему характеру отличается от частных экономических контор, представляет собой понятие, присущее континентальной Европе, и при сравнении, оказывается совершенно чуждой американскому мышлению¹³.

Иными словами, на рубеже веков американцы не то чтобы сетовали на то, что правительством нужно руководить как частной компанией, а просто считали, что правительство и бизнес – во всяком случае, крупный – регулируются одинаково.

Действительно, на протяжении большей части XIX века экономика Соединенных Штатов состояла из небольших семейных фирм и крупного финансового капитала – как и экономика Великобритании в ту же эпоху. Однако выход США на международную арену в качестве великой державы в конце века отражал становление специфической американской

конфигурации: корпорация – бюрократия – капитализм. Как отмечал Джованни Арриги, в это же время аналогичная корпоративная модель складывалась в Германии, и обе страны (и Соединенные Штаты, и Германия) провели почти всю первую половину следующего, XX столетия в борьбе за право занять место переживавшей упадок Британской империи и навязать собственное видение мирового экономического и политического порядка. Все мы знаем, кто победил. Здесь Арриги делает еще одно интересное замечание. В отличие от Британской империи, которая серьезно относилась к риторике свободного рынка и упразднила свои протекционистские пошлины знаменитым биллем об отмене хлебных законов 1846 года, ни германский, ни американский режимы никогда особо не были заинтересованы в свободной торговле. Американцы больше стремились к созданию структур международного управления. Забрав у Великобритании бразды правления после Второй мировой войны, Соединенные Штаты первым делом организовали первые поистине планетарные бюрократические структуры в виде Организации Объединенных Наций и Бреттон-Вудских институтов – Международного валютного фонда, Всемирного банка и ГАТТ, позже превратившегося в ВТО. Британская империя никогда не пыталась предпринять что-либо подобное. Она либо завоевывала другие страны, либо торговала с ними. Американцы же стремились управлять всем и каждым.

Я заметил, что британцы гордятся тем, что не сильно раз-

бираются в бюрократии; американцы же, напротив, словно смущаются того факта, что очень неплохо ориентируются в ее дебрях¹⁴. Это не соответствует представлению американцев о самих себе. Считается, что мы – индивидуалисты и полагаемся на самих себя (именно поэтому так эффективна демонизация бюрократов со стороны правых популистов). Тем не менее факт остается фактом: Соединенные Штаты являются (причем уже более ста лет) глубоко бюрократическим обществом. Это не так очевидно, потому что большинство американских бюрократических привычек и воззрений – от одежды и языка до дизайна формуляров и офисов – пришли из частного сектора. Когда писатели и социологи описывали «Человека организации» или «Человека в сером фланелевом костюме», бездушного конформиста, американского аналога советского аппаратчика, они не говорили о чиновниках из Департамента землепользования и охраны природы или из Управления социальной защиты, а изображали корпоративного менеджера средней руки. И правда, в то время бюрократов из корпораций уже не называли бюрократами. Но они по-прежнему задавали стандарт того, как должны выглядеть административные работники.

Представление о том, что слово «бюрократ» следует рассматривать как синоним «государственного служащего», восходит к 1930-м годам, к эпохе «Нового курса», когда бюрократические структуры и методы впервые стали занимать заметное место в жизни многих обычных людей. Но

в действительности с самого начала рузвельтовские нью-дилеры тесно сотрудничали с полчищами юристов, инженеров и корпоративных бюрократов, работавших в таких фирмах, как Ford, Coca-Cola или Procter & Gamble, и перенимали их стиль и мировоззрение; и когда в 1940-е годы Соединенные Штаты перешли на военное положение, то же самое сделала и гигантская бюрократия американской армии. Очевидно, что с тех пор Соединенные Штаты из военного положения так и не вышли. Тем не менее, как следствие этих методов, слово «бюрократ» закрепилось исключительно за государственными служащими: менеджеров средней руки или офицеров никто не считает бюрократами, даже если они целыми днями только и делают, что сидят за письменными столами, заполняют анкеты и готовят отчеты (то же относится и к полиции, и к сотрудникам Агентства национальной безопасности).

В Соединенных Штатах граница между государственным и частным долгое время была размытой. Например, широко известна «вращающаяся дверь» американской армии – высокопоставленные офицеры, занимающиеся вопросами снабжения, регулярно оказываются в советах директоров корпораций, выполняющих военные заказы. В более широком плане необходимость сохранения одних отраслей промышленности для военных целей и развития других позволила правительству США развернуть промышленное планирование

фактически в советском стиле и в то же время не признаваться в этом. В конце концов, почти всё, от поддержания определенного количества сталелитейных заводов до проведения первых исследований по разработке интернета, можно оправдать, исходя из соображений подготовки к войне. И вновь, поскольку такого рода планирование осуществляется общими усилиями военных и корпоративных служащих, оно и близко не воспринимается как нечто бюрократическое.

Тем не менее с ростом финансового сектора ситуация вышла на качественно иной уровень, на котором становится практически невозможным определить, что является государственным, а что – частным. Это связано не столько с тем, что многие функции, некогда исполнявшиеся правительством, впоследствии передали частным корпорациям, сколько прежде всего с тем, как последние стали функционировать.

Позволю себе привести пример. Пару недель назад я в течение нескольких часов общался с Bank of America, пытаюсь разобраться, как получить доступ к информации о моем счете, если я нахожусь за рубежом. Для этого мне пришлось поговорить с четырьмя разными представителями банка, дважды меня перевели на несуществующие номера, три раза мне долго объясняли сложные и явно произвольные правила, и я предпринял две безуспешные попытки заменить устаревшие данные об адресе и номере телефона, которые хранились в различных компьютерных системах. Иными слова-

ми, это было само воплощение бюрократической волокиты (по завершении всего этого я так и не смог получить доступ к моему счету).

Теперь у меня не осталось ни малейших сомнений, что, если бы я решил найти управляющего банком и спросить у него, как такое вообще возможно, он или она стали бы сразу убеждать меня, что банк обвинять в этом нельзя – все это последствия мудреной путаницы, созданной правительственными предписаниями. Тем не менее я также уверен в том, что если бы существовала возможность изучить, как эти предписания появились, то обнаружилось бы, что они были совместно составлены консультантами законодателей, заседающих в каком-нибудь банковском комитете, лоббистами и адвокатами, нанятыми самими банками, а весь процесс был простимулирован щедрыми пожертвованиями на кампании по переизбранию тех же самых законодателей. То же можно было бы сказать и о кредитных рейтингах, страховых премиях, заявлениях на выдачу ипотеки, равно как и о процессе покупки билета на самолет, о подаче заявления на получение разрешения на плавание с аквалангом или о попытке заказать эргономическое кресло в офис какого-нибудь частного, на первый взгляд, университета. Подавляющее большинство бумажной волокиты, которой мы занимаемся, существует лишь в этой своего рода промежуточной зоне – на первый взгляд, частной, но на деле полностью сформированной правительством, задающим юридические рамки и обес-

печивающим соблюдение правил при помощи своих судов и всех связанных с ними сложных механизмов принуждения, но в первую очередь – и это главное – держащим в уме стремление частного сектора к тому, чтобы все это в результате обеспечивало определенную норму частной прибыли.

В подобных случаях язык, который мы используем – и который породила критика правых, – оказывается совершенно неподходящим. Он ничего не говорит нам о том, что происходит на самом деле¹⁵.

Рассмотрим такое явление, как дерегулирование. В сегодняшнем политическом дискурсе слово «дерегулирование» (как и «реформа») почти всегда считается чем-то положительным. Дерегулирование означает меньше бюрократического вмешательства и меньше правил и предписаний, душащих инновации и торговлю. Такое использование ставит тех, кто относит себя к левой части политического спектра, в неловкое положение, поскольку сопротивление дерегулированию (даже если учесть, что именно вакханалия этого самого «дерегулирования» привела к банковскому кризису 2008 года) подразумевает стремление к большему количеству правил и предписаний, а значит, к увеличению числа людей в серых костюмах, стоящих на пути к свободе и к инновациям и указывающим другим, что они должны делать.

Но эти споры основаны на ложных предпосылках. Вернемся к банкам. «Нерегулируемых» банков не бывает. И быть не может. Например, правительство наделило банки

властью создавать деньги или, если отнестись к этому вопросу несколько более педантично, право выдавать долговые расписки, которые правительство признает в качестве платежного средства, а значит, принимает для уплаты налогов и для погашения долгов на подконтрольной ему национальной территории. Разумеется, никакое правительство не станет предоставлять кому бы то ни было (и уж тем более фирме, стремящейся к получению прибыли) власть выпускать столько денег, сколько ей захочется, в любых обстоятельствах. Это было бы безумием. Власть создавать деньги устроена так, что правительства по определению могут передавать ее лишь на четко прописанных (читай: регулированных) условиях. И действительно, именно это мы всегда и обнаруживаем: правительство контролирует всё, от резервных требований к банку до времени его работы; сколько он может брать в виде процентов, комиссий и пеней; какие предосторожности в области безопасности он способен или должен применять; как он уполномочен вести свою бухгалтерию и по ней отчитываться; как и когда он обязан извещать своих клиентов об их правах и обязанностях; и практически все остальное.

Так что люди сегодня имеют в виду, говоря о «дерегулировании»? В повседневном использовании это слово, похоже, подразумевает «изменение нормативной структуры так, как мне нравится». На практике оно может означать все что угодно. Применительно к авиационным или телекоммуника-

ционными компаниям в 1970-е и 1980-е годы оно означало переход от системы регулирования, поощрявшей несколько крупных фирм, к модели, которая стимулировала тщательно контролируемую конкуренцию между фирмами среднего размера. Применительно к банкам «дерегулирование» обычно подразумевало ровно противоположное: отказ от управляемой конкуренции между фирмами среднего размера в пользу модели, при которой горстке финансовых конгломератов позволено полностью господствовать на рынке. Именно поэтому этот термин так удобен. Просто назвав новую регулятивную меру «дерегулированием», вы можете представить ее публике как способ сократить бюрократию и высвободить личную инициативу, даже если ее результатом станет пятикратное увеличение количества формуляров, отчетов, правил и норм, которые юристы должны будут истолковывать, и услужливых людей в офисах, чья работа, похоже, заключается в том, чтобы давать вам изоощренные объяснения, почему вам нельзя делать те или иные вещи¹⁶.

У этого процесса постепенного слияния государственной и частной власти в единое целое, который порождает ворох правил и предписаний, создаваемых с целью извлечения богатства в виде прибыли, пока еще даже нет названия. Что само по себе показательно. Такое может происходить зачастую потому, что мы не знаем, как говорить об этом процессе. Но его последствия мы наблюдаем во всех сферах нашей жизни.

Он заполняет наши дни бумажной волокитой. Бланки становятся все длиннее и заковыристее. Обычные документы вроде счетов, билетов, членских карт спортивных или книжных клубов подкрепляются теперь страницами бюрократического текста, набранного мелким шрифтом.

Я собираюсь обозначить этот процесс и буду называть его эпохой «тотальной бюрократизации» (я также склонялся к эпохе «хищнической бюрократизации», но здесь я хочу подчеркнуть именно вездесущую природу данного явления). Можно сказать, что его первые ростки появились как раз тогда, когда в конце 1970-х годов начала угасать общественная дискуссия о бюрократии, его серьезное развитие продолжилось в 1980-е, а настоящий размах оно приобрело в 1990-е.

В одной из своих книг я высказывал предположение, что ключевой исторический перелом, ознаменовавший появление нынешнего экономического режима, произошел в 1971 году, когда была отменена привязка американского доллара к золоту. Именно это открыло дорогу сначала финансиализации капитализма, а затем и более глубоким изменениям, которые, как мне кажется, в итоге с ним покончат. Я по-прежнему так считаю. Но здесь мы говорим о краткосрочных последствиях. Что означала финансиализация для того глубоко бюрократизированного общества, которым являлась послевоенная Америка?¹⁷

На мой взгляд, то, что произошло, лучше всего рассматривать как смещение классовых предпочтений управлен-

ческого персонала крупнейших корпораций от непростого фактического союза с рабочими к союзу с инвесторами. Как давно отмечал Джон Кеннет Гэлбрейт, если вы создаете предприятие по производству духов, молочных продуктов или самолетных корпусов, то его работники, будучи предоставлены самим себе, скорее будут направлять свои усилия на то, чтобы производить духи, молочные продукты или самолетные корпуса лучшего качества и в большем количестве, а не думать в первую очередь о том, что принесет больше денег акционерам. Более того, поскольку на протяжении значительной части XX века работа в крупной бюрократической фирме означала гарантированную пожизненную занятость, все люди, вовлеченные в процесс, как менеджеры, так и рабочие, считали, что у них в этом отношении общие интересы, которые важнее интересов собственников и инвесторов, сующих нос не в свое дело. Такая солидарность между разными классами даже получила свое название – «корпоративизм». Романтизировать ее не стоит: она являлась одной из философских основ фашизма. Ведь можно сказать, что фашизм просто перенял мысль о том, что у рабочих и управленцев общие интересы и что такие организации, как корпорации и сообщества, образуют органическое целое, а финансисты – это чуждая, паразитическая сила, и затем довел ее до убийственной крайности. Даже в более мягких социал-демократических вариантах в Европе и Америке социальная политика зачастую окрашивалась в шовинистические

тона¹⁸ – кроме того, она еще и привела к тому, что инвесторы до определенной степени всегда рассматривались как чужаки, против которых белые и синие воротнички выступали единым фронтом.

Радикалам 1960-х годов, чьи антивоенные демонстрации регулярно подвергались нападениям со стороны националистически настроенных водителей грузовиков и рабочих, реакционные последствия корпоративизма казались очевидными. Корпоративные офисные служащие и хорошо зарабатывающий промышленный пролетариат, нашедший воплощение в образе Арчи Банкера, находились по одну сторону баррикад. Неудивительно, что левая критика бюрократии в те времена сосредотачивалась на том, что общих черт с фашизмом у социал-демократии было больше, чем сторонники последней были готовы признать. Неудивительно и то, что эта критика сегодня кажется совершенно неприменимой¹⁹.

В 1970-е годы произошло событие, повлиявшее на то, что мы видим сегодня, а именно стратегический разворот верхних слоев американской корпоративной бюрократии от рабочих к акционерам, а затем и к финансовым структурам в целом. Такие явления, как слияния и поглощения, корпоративное рейдерство, спекулятивные облигации и распродажа активов, начавшиеся при Рейгане и Тэтчер и достигшие кульминации со становлением частных инвестиционных фирм, были лишь одними из наиболее ярких ранних механизмов, при помощи которых осуществилось это смещение

ние предпочтений. На деле данное движение носило двойственный характер: корпоративный менеджмент все сильнее финансиализировался, но вместе с тем финансовый сектор становился более корпоративным по мере того, как инвестиционные банки, хедж-фонды и тому подобные компании вытесняли индивидуальных инвесторов. В результате класс инвесторов и класс управленцев стали практически неотличимы друг от друга (вспомните термин «финансовый менеджмент», которым начали обозначать и то, как высшие слои корпоративной бюрократии управляют своими фирмами, и то, как инвесторы распоряжаются своими портфелями). Вскоре героических генеральных директоров стали прославлять в СМИ, причем их успешность измерялась количеством работников, которых они могли уволить. К 1990-м годам пожизненная занятость ушла в прошлое даже для белых воротничков. Если корпорации хотели добиться преданности, они все чаще расплачивались со своими сотрудниками биржевыми опционами⁰.

В то же время новое кредо гласило, что каждый должен смотреть на мир глазами инвестора – вот почему в 1980-е годы газеты начали увольнять репортеров, рассказывавших о трудовых отношениях, а новостные выпуски стали сопровождаться бегущей строкой внизу экрана, отражающей актуальные котировки акций. Везде говорили о том, что, участвуя в личном пенсионном или инвестиционном фонде того или иного рода, каждый может получить свой кусок капи-

тализма. На самом деле магический круг расширился лишь настолько, чтобы вобрать в себя наиболее высокооплачиваемых профессионалов и самих корпоративных бюрократов.

Тем не менее это расширение считалось очень значительным. Ни одна политическая революция не может быть успешной без союзников, потому было крайне необходимо привлечь определенную часть среднего класса и, что еще важнее, убедить основную массу среднего класса, что у нее есть своя доля в капитализме, в котором господствуют финансы. В конечном итоге самые либеральные члены этой элиты профессионалов и менеджеров стали социальной базой того, что начали называть политическими партиями «левого толка» по мере того, как непосредственные организации рабочих вроде профсоюзов все больше оттеснялись (например, Демократическая партия США или «новые лейбористы» в Великобритании, чьи лидеры регулярно устраивали ритуальные акты публичного отречения от тех самых профсоюзов, что исторически служили их наиболее прочной основой). Конечно, были люди, уже работавшие в тщательно забюрократизированных организациях, например, в школах, больницах или корпоративных юридических фирмах. Настоящий рабочий класс, традиционно испытывавший ненависть к таким лицам, либо полностью выпал из политики, либо все чаще в знак протеста голосовал за правых радикалов²¹.

Это была не просто политическая перестройка, а настоящая культурная трансформация. Так подготовили основу

для процесса, посредством которого бюрократические приемы (анализ эффективности, фокус-группы, исследования о распределении времени), разработанные в финансовых и корпоративных кругах, наводнили остальные сферы общества – образование, науку, правительственные институты, – а затем проникли почти во все сферы повседневной жизни. Проще всего этот процесс можно проследить по языку. В этих кругах сложилось специфическое наречие, полное ярких и пустых терминов: «видение», «качество», «заинтересованное лицо», «лидерство», «совершенство», «инновации», «стратегические задачи» или «передовой опыт» (большая часть из них восходит к движениям «раскрытия своих способностей», таким как Lifespring, Mind Dynamics и EST; эти термины были чрезвычайно популярны в залах заседаний корпораций в 1970-е годы, но очень скоро превратились в самостоятельный язык). Теперь представьте, что можно создать карту какого-нибудь крупного города и поместить маленькую синюю точку там, где находится каждый документ, в котором используются по меньшей мере три таких слова. Затем вообразите, что мы способны видеть, как они меняются на протяжении времени. Мы смогли бы наблюдать за тем, как новая корпоративная культура расплзается, словно синее пятно в чашке Петри: появившись в финансовых районах, она проникает в залы заседаний, затем в правительственные учреждения и в университеты и, наконец, заполняет все места, где люди собираются для обсуждения распре-

деления каких бы то ни было ресурсов.

Хотя этот союз правительства и финансов на все лады расхваливает рынки и личную инициативу, часто он приводит к результатам, которые поразительно напоминают худшие проявления бюрократизации в СССР или в бывших колониальных задворках глобального Юга. К примеру, существует антропологическая литература, посвященная культуре сертификатов, лицензий и дипломов в бывшем колониальном мире. Часто она рассказывает о том, что в странах вроде Бангладеш, Тринидада и Тобаго или Камеруна, находящихся в плену удушающего наследия колониального владычества и собственных магических традиций, официальные удостоверения считаются чем-то вроде материального фетиша, то есть волшебных объектов, придающих силу сами по себе, без какой-либо связи с реальными знаниями, опытом или навыками, которые они должны отражать. Но начиная с 1980-х годов настоящий взрыв сертификатов произошел в «передовых» странах, таких как США, Великобритания или Канада. Как отмечает антрополог Сара Кендзиор:

«Соединенные Штаты стали страной, строже всех в мире относящейся к сертификатам», – пишут Джеймс Энджелл и Энтони Дэнджерфилд в своей книге «Как спасти высшее образование в эпоху денег», изданной в 2005 году. «Степень бакалавра требуют при приеме на такие рабочие места, для которых, даже при самом

богатом воображении, не может понадобиться и двух лет очного обучения, не говоря уже о четырех».

Превращение вузовского диплома в условие для того, чтобы стать частью среднего класса, привело к исключению из числа общественно значимых тех профессий, что не требуют университетского образования. В 1971 году университетский диплом был у 58 % журналистов. Сегодня этот показатель составляет 92 %, и во многих изданиях требуют университетский диплом по журналистике, несмотря на тот факт, что самые известные журналисты его никогда не получали²².

Журналистика – это одна из общественно значимых сфер (к коим относится и политика), где дипломы фактически служат разрешением говорить, уменьшая шансы тех, у кого их нет, найти работу и остаться в этой сфере. Способности без диплома теряют в цене, а способность приобретать дипломы в большинстве случаев зависит от семейного благосостояния²³.

Эту историю можно повторять и применительно к другим профессиям – от медсестер и учителей рисования до физиотерапевтов и консультантов по вопросам внешней политики. Почти в каждой сфере деятельности, раньше считавшейся искусством, которому лучше учиться на практике, теперь требуется формальная профессиональная подготовка и сертификат о завершении обучения. К тому же это происходит в равной степени и в частном секторе, и в государственном,

поскольку, как мы уже отмечали, в бюрократических вопросах это различие утратило всякий смысл. Хотя эти меры навязываются – как и все бюрократические меры – под предлогом создания честных, безличных механизмов в областях, где раньше господствовали закрытые от других знания и социальные связи, зачастую они приводят к противоположному результату. Как знает всякий, кто учился в аспирантуре, именно дети профессионалов и менеджеров, которые благодаря семейным ресурсам меньше прочих нуждаются в финансовой поддержке, лучше разбираются в мире бумажной волокиты и потому скорее получают эту поддержку²⁴. Для всех остальных главным результатом многолетней профессиональной подготовки становится то, что они обременены такими колоссальными долгами за обучение, что значительная доля любого последующего дохода, что они получают от своей профессиональной деятельности, каждый месяц будет выкачиваться финансовым сектором. В некоторых случаях эти новые требования к подготовке можно охарактеризовать лишь как откровенное мошенничество, например, когда кредиторы и разработчики программ подготовки совместно требуют от правительства, чтобы, скажем, все фармацевты отныне сдавали какой-нибудь дополнительный квалификационный экзамен, что вынуждает тысячи людей, уже занимающихся этой профессией, посещать вечернюю школу, в которой, как эти фармацевты прекрасно понимают, многие смогут учиться при условии, что возьмут кредиты на обуче-

ние под высокий процент²⁵. Поступая так, кредиторы законодательно закрепляют свое право на присвоение значительной части последующих доходов фармацевтов²⁶.

Последнее может показаться крайностью, но это в какой-то степени образцовый пример слияния государственной и частной власти в условиях нового финансового режима. Корпоративные доходы в Америке все чаще обеспечиваются вовсе не торговлей или промышленностью, а финансами – то есть в итоге долгами других людей. Эти долги не возникают случайно. В значительной степени они проектируются, причем именно этим слиянием государственной и частной власти. Корпоративизация образования; вытекающее из нее раздувание стоимости обучения, поскольку предполагается, что студенты должны платить за гигантские футбольные стадионы и тому подобные проекты, лелеемые доверительными управляющими, или оплачивать возрастающие зарплаты университетских сотрудников, которых становится все больше; растущий спрос на дипломы, служащие сертификатом для поступления на работу, которая обещает доступ к уровню жизни среднего класса; вытекающий из этого рост уровня задолженности – все это образует единую цепь. Одним из следствий всех этих долгов становится то, что правительство превращается в главный механизм извлечения корпоративных доходов (просто представьте, что произойдет, если кто-нибудь попытается не выплачивать долг за обучение: в действие вступит весь правовой аппарат, угро-

жая арестом имущества и зарплаты и наложением дополнительных многотысячных штрафов). Другое следствие – это то, что самих должников вынуждают все больше бюрократизировать свою жизнь, которую нужно организовывать так, как если бы они сами были маленькими корпорациями: рассчитывая издержки и доходы и постоянно пытаюсь сбалансировать счета.

Также важно подчеркнуть, что, хотя эта система извлечения прибыли облекается в язык правил и предписаний, ее функционирование в нынешнем виде не имеет ничего общего с верховенством закона. Скорее само юридическое устройство стало инструментом системы все более и более произвольного извлечения денег. По мере того как прибыли банков и компаний, выпускающих кредитные карты, все в большей степени обеспечиваются за счет «платежей и штрафов», взимаемых с их клиентов – настолько, что с тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, могут регулярно взимать штрафы в восемьдесят долларов за перерасход средств в размере пяти долларов, – финансовые компании стали играть по совершенно иным правилам. Однажды на конференции, посвященной кризису банковской системы, у меня состоялся короткий неформальный разговор с экономистом из одного Бреттон-Вудского института (наверное, лучше не называть, какого именно). Я спросил его, почему все до сих пор ждут, что хотя бы одного банковского служащего привлекут к судебной ответственности за любое из мошеннических

действий, приведших к краху 2008 года.

СЛУЖАЩИЙ. Ну, вы должны понимать, что американские прокуроры всегда стремятся достигать полюбовного соглашения с финансовыми мошенниками. В результате финансовый институт обязуют выплатить штраф, иногда в размере нескольких сотен миллионов, но фактически они не признают никакой уголовной ответственности. Их юристы просто говорят, что они не будут оспаривать обвинение, но если они заплатят, то технически перестанут считаться виновными.

Я. То есть вы говорите, что если правительство видит, что, допустим, Goldman Sachs или Bank of America совершили мошенничество, то их просто заставят выплатить штраф.

СЛУЖАЩИЙ. Так и есть.

Я. Ну, в этом случае... Ладно, я так понимаю, что лучше задать вопрос так: случалось ли когда-нибудь такое, чтобы штраф, который компания была обязана заплатить, был больше того, что она заработала на мошенничестве?

СЛУЖАЩИЙ. Нет, насколько я знаю. Обычно штраф намного меньше.

Я. О каком объеме мы говорим? 50 %?

СЛУЖАЩИЙ. Я бы сказал, скорее 20–30 %, в среднем. Но сумма значительно варьируется от случая к случаю.

Я. И это получается... Поправьте меня, если я ошибаюсь, но не означает ли это, что правительство

говорит: «Вы можете совершать любое мошенничество, какое вам вздумается, но, если мы вас поймаем, вы должны будете заплатить нам долю»?

СЛУЖАЩИЙ. Ну, я, разумеется, не могу использовать такие формулировки, пока я работаю в банке...

И разумеется, право этих же банков взимать с владельцев счетов восемьдесят баксов за перерасход подкрепляется все той же судебной системой, которая довольствуется лишь отступными, когда сами банки проворачивают махинации.

С одной стороны, это может казаться лишь еще одним примером всем известной истории: богатые всегда играют по другим правилам. Если дети банкира регулярно выкручиваются, когда их ловят с таким количеством кокаина, которого хватило бы на десятки лет заключения в федеральной тюрьме, будь они бедными или черными, то почему что-то должно измениться, когда они сами становятся банкирами? Но, на мой взгляд, тут речь идет о чем-то более глубоком, в чем проявляется сама сущность бюрократических систем. Такие институты всегда создают культуру соучастия. Дело не просто в том, что какие-то люди могут нарушать правила, а в том, что преданность человека организации до определенной степени измеряется готовностью притворяться, будто этого не происходит. А поскольку бюрократическая логика распространяется на все общество в целом, то все мы начинаем подыгрывать.

На этом вопросе стоит остановиться. Я имею в виду, что здесь мы наблюдаем не просто двойные стандарты, а особые двойные стандарты, которые повсеместно являются отличительными чертами бюрократических систем. Любая бюрократия несколько утопична в том смысле, что она предлагает абстрактный идеал, которого люди никогда не достигнут. Возьмем в качестве точки отсчета страсть к дипломам. Социологи вроде Вебера всегда отмечают, что одной из определяющих черт любой бюрократии является то, что ее представители отбираются по формальным, безличным критериям – чаще всего, на основе какого-нибудь письменного теста (иными словами, бюрократы, например, не избираются, как политики, но, с другой стороны, они не устраиваются на работу просто благодаря родственным связям). В теории, тут действуют принципы меритократии. Но всякому известно, что в этой системе тысячи дефектов. Многие бюрократы, в действительности, получили должность благодаря родственным связям, и все об этом знают. Первым критерием преданности организации становится соучастие. По карьерной лестнице продвигаются не за достоинства и даже не при помощи родственников, а в первую очередь благодаря готовности делать вид, будто карьерный рост *основан* на достижениях, даже если все знают, что это не так²⁷. Или притворяться, что правила и нормы одинаковы для всех, хотя на самом деле их часто используют как инструмент совершенно произвольной личной власти.

Бюрократия работала так всегда. Но на протяжении большей части истории этот факт имел значение только для тех, кто и правда действовал в рамках административных систем, допустим, для амбициозных конфуцианских ученых в средневековом Китае. Всем остальным не было нужды часто думать об организациях; обычно они сталкивались с ними раз в несколько лет, когда наступало время учета их полей и скота местными налоговыми властями. Но, как я уже отмечал, в минувшие два столетия произошел взрывной рост бюрократии, а в последние тридцать-сорок лет бюрократические принципы проникли во все сферы нашей жизни. В результате распространилась и эта культура соучастия. Многие из нас действуют так, как если бы они верили, что в судах с финансовыми учреждениями обращаются как положено, и что с ними обходятся даже слишком жестко, и что обычные граждане действительно заслуживают того, чтобы их наказывали в сто раз строже за перерасход средств. Поскольку целые общества стали утверждать, что придерживаются концепции меритократии, подкрепленной дипломами, и не считают себя системами произвольного вымогательства, каждый спешит выслужиться, утверждая, что действительно верит в то, что все так и есть.

Так как могла бы выглядеть левая критика тотальной или хищнической бюрократизации?

На мой взгляд, подсказку может дать история Глобального

движения за справедливость, которое, к своему собственному удивлению, выяснило, в чем заключается тотальная бюрократизация. Я помню это достаточно хорошо, потому что в свое время активно принимал участие в их деятельности. В 1990-е годы «глобализация», как возвещали журналисты вроде Томаса Фридмана (а на самом деле весь журналистский истеблишмент в Соединенных Штатах и в большинстве других богатых стран), представлялась почти естественной силой. Технологические достижения, в особенности интернет, сделали мир сплоченным как никогда прежде, возросший объем коммуникаций вел к росту торговли, а национальные границы быстро утрачивали свое значение в условиях, когда договоры о свободной торговле превращали планету в единый мировой рынок. В политических дебатах того времени, что велись в ведущих СМИ, все это воспринималось как настолько очевидные реалии, что казалось, будто всякий, кто выступал против этого процесса, действует против основных законов природы – его противники словно отрицали, что Земля круглая, и считались шутами, левыми эквивалентами библейских фундаменталистов, утверждающих, что эволюция – ложь.

Поэтому, когда возникло Глобальное движение за справедливость, СМИ рисовали его как последнее порождение пещерных левых, которые хотели восстановить протекционизм, национальный суверенитет, барьеры на пути торговли и коммуникаций и вообще стать на пути Необратимого Те-

чения Истории. Проблема в том, что все, разумеется, было не так. Почти сразу выяснилось, что средний возраст протестующих, прежде всего в богатых странах, составлял девятнадцать лет. Еще важнее было то, что движение само стало формой глобализации: это был калейдоскопический союз людей со всех уголков мира, включавший в себя самые разные объединения, от ассоциаций индийских крестьян до профсоюза канадских работников почты, от групп панамских индейцев до анархистских коллективов из Детройта. Более того, представители движения неустанно повторяли, что, несмотря на утверждения в обратном, то, что СМИ называли «глобализацией», не имело практически ничего общего со стиранием границ и свободным движением людей, товаров и идей. Речь на самом деле шла о заточении все большей части населения мира в милитаризованных национальных границах, в рамках которых можно было систематически уничтожать социальную защиту, создавая группу настолько отчаявшихся трудящихся, что они будут готовы работать практически даром. Выступая против такого положения дел, они предлагали настоящий мир без границ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.